

*Александр Чанцев*

## Внутренняя алхимия

*В этом обзоре объединены три персонажа истории идей прошлых десятилетий — к сожалению, они все умерли, — к которым применимо расхожее выражение «раздвигать границы реальности». Они делали это как в сфере мысли и даже духа, так и зачастую в повседневной жизни. И хотя проходили они по ведомству рафинированной, даже маргинальной интеллектуальности, изучение их влияния — выходящее уже за рамки нашего обзора, — потянуло бы на добрую диссертацию.*

### *Мера неизвестного*

**Евгений ГОЛОВИН. Там. — М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2021. 304 с.**

Дополненное издание выходявшей десяток лет назад и ставшей без преувеличения библиографической редкостью книги<sup>1</sup> — не только потому, что у нас сложно купить что-то, вышедшее вчера в статусе бестселлера, но и потому, что книги одного из лидеров Южинского кружка, переводчика, литературоведа, мистика, поэта, барда всегда были вещью малодоступной<sup>2</sup>. Может, так оно и надо.

Ведь и Головин, по словам Гейдара Джемалю, о котором мы поговорим чуть позже, называл его необычным учителем — «он являлся гуру и притом машиной для провокаций по ту сторону добра и зла, по ту сторону человеческих слабостей»<sup>3</sup>.

Интеллектуал еще до изобретения этого термина, в «Там» он просто захватывает — более или менее подготовленного — читателя fascinацией своей эрудиции, мысли, необычностью ее траектории. «Там» — очень емкое и краткое название для круга идей, которые хотелось бы обозначить хотя бы по верхам. Как Николая Фёдорова называли Московским Сократом, так Головина — Адмиралом, Калиостро, последним метафизиком и много еще как. Заслуженно.

Тем более что Головин, скажем так, из устных философов. Не потому, что разворачивал свое учение на кухне — других возможностей тогда особо и не было, только под конец жизни его, сильно больного, стали записывать на видео, — а потому,

---

<sup>1</sup> Я писал о первом издании книги: Ракетой к Чёрной Луне // Частный корреспондент. 2011. 17 июля (<http://www.chaskor.ru/p.php?id=24083>). И это единственный случай в моей истории критика, когда я нарушаю свое правило и пишу об одной книге дважды.

<sup>2</sup> Отошлю и к заметке о более представительном и пока не переизданном сборнике его эссе: Западные суфии и средневековый Адмирал // Перемены. 2014. 15 июня (<https://www.peremeny.ru/blog/16791>).

<sup>3</sup> Джемаль Г. Сады и пустоши. — М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2021.

что работал скорее на чужом материале. Как все средневековое — и не только — богословие выросло из экзегезы одного-единственного текста, так и Головин переводил, рассказывал, знакомил с теми авторами и концептами, о которых тогда и слыхом не слыхивали. Традиция эта почетная и вполне дошедшая до наших дней — надо ли говорить, насколько выше и ценнее материалы Бибихина о Хайдеггере, нежели «учение» какого-нибудь современного выпускника психфака, решившего срубить хайп на изобретении нового извода психоанализа для нужд подкастов в YouTube'e?

В вошедших в эту книгу эссе Головин может писать о разном. «Трактовка старости у Рембо и Бодлера» или — с лукавой улыбкой — «Женская магия: проблемы красоты». В основном же его «подопечные», та глина, из которой, как на дрожжах, вырастает Голем, вернее, гомункул, — это высокий модернизм, от символизма до экспрессионизма и редких, до сих пор не в широком ходу, поэтов середины и второй половины прошлого века. В основном — Жерар де Нерваль, Теофиль Готье, Артюр Рембо, Георг Гейм — и много Шарля Бодлера, Георга Тракля и Готфрида Бенна.

Почему даже не эта эпоха, а эти персоналии — понятно. Головин, что удивительно, как раз не за отдельные персоналии, но за живое существование поэзии, ее обмена, ее, как в реторте, бурление. «После смерти Рембо, Верлена, Маларме и многих других выдающихся поэтов началась агония поэзии. <...> Когда атмосфера насыщена кислородом, появление живых существ не вызывает удивления и никто не собирается считать их поштучно<sup>1</sup>. Когда общественная атмосфера пронизана поэзией, никто не собирается учитывать поэтов экзemplарно». Об этом состоянии общественного и индивидуального сознания (тогда это — равно) он и пишет. Пишет тоже не напрямую — он не Эвола и не Генон, манифесты не выдает. А через отрицание. Зачастую — почти устами тех же «проклятых поэтов». Так, Бодлер «безусловно, ненавидел современную эпоху прогресса, вульгарного материализма, новых уродливых зданий — предвестников зари ликующего оптимизма<sup>2</sup>. Ему претил фетишизм денег, равного которому он не находил в истории». Или же он цитирует Клагеса, инвективы того против «объективного мирозерцания, механически отрегулированную функциональность, управляемую холодно и безразлично». Человек становится механизмом вроде заведенных раз и навсегда часов: «Главное — встать вовремя, провести необходимые гигиенические процедуры вовремя, поесть вовремя, успеть на работу и т.д.»

Подобное ворчание, даже стилистически блестящее и поражающее эрудицией (про цитируемых алхимиков, ересиархов и апокрифических авторов думаешь каждый раз, не выдумал ли их Головин, — знания и их верификация у современного человека ограничены чаще всего интернетом), вряд ли бы составило ось даже небольшого выступления Головина. На примере того, как Бодлер расширяет сферу эстетического, вводя в нее дотолем шокировавшие элементы уродливого, смерти, неприличного, Головин показывает ту «меру неизвестного», о которой писал Рембо<sup>3</sup>, — и делает по сути то же самое. Из рассматриваемых им крайне сложных, герметически закрытых

<sup>1</sup> Мысль Головина — возможно даже, и с его слов, — разделяет и Гейдар Джемаль: «Меня давно занимала идея, что люди уходят не просто когда угодно. Люди умирают не потому, что они заболели, состарились или просто устали жить, а потому, что кончается их эпоха, — они уходят целыми блоками, пластами носителей определенной матрицы».

<sup>2</sup> Как не оценить пророческие возможности Головина в нашу эпоху тотального «позитива» и борьбы со всем «токсичным», то есть хотя бы минимально «напрягающим», требующим усилий сверх поставленного лайка и отравленного смайлика. Вот еще очень актуальное: «Социальный хаос, обескровленная жизнь духа при отсутствии трансцендентной перспективы, единственность сугубо материального бытия и связанный с этим культ молодости и физических сил...» Головин любит приводить высказывание Хайдеггера (в связи с тем же Гёльдерлином) о том, что из современной жизни исчез не только Бог, «но и божественная роскошь погасла в истории мира».

<sup>3</sup> «Поэт определяет меру неизвестности, характерную для его эпохи» («Письмо провидца»). В отношении самого Головина можно до сих пор, увы, говорить о мере его неизвестности...

произведений он вычленяет эту неизвестную суть: «Что касается энигматической, визионерской лирики “Озарений”, она электризует неожиданными, поразительными образами, головокружительными пейзажами, чуждыми эмоциями, странными философскими параболлами, но что-либо понять в ней, мягко говоря, трудно», — о том же Рембо. Так Головин поступает и с эпохой. «Если в айсберге лежит мамонт, он безусловно есть его истина, но даже если метель белой луны выдувает в айсберге пещеру, то стоит призадуматься: истина — ледяная поверхность айсберга или его пещера?» — говорит уже сам Головин. Как в этих текстах («лучше не вдумываться даже в простую поэзию»), он находит и предьявляет читателю это распыленное, сокрытое знание о вещах более кардинальных, чем они явлены поверхностью и поверхностным же взглядом. И опять чужими словами, без пафоса прямого высказывания, он выводит обобщающее суждение: «Далее Нерваль рассуждает: уважай в каждом звере деятельный дух; учти, в каждом цветке таится душа природы: в каждом металле скрыта мистерия любви: все чувствует и влияет на тебя. Даже из щели слепой стены на тебя косится недоверчивый взгляд». Как же это функционирует, на каких тонких пластах духа, с которыми пристало работать скорее и вернее вдумчивому алхимику?

Знание это болезненно, оно предполагает не меньшую (скорее — все же меньшую, ибо нынешняя цивилизация обманывает прежде всего своей комфортностью, «позитивом») болезненность, чем наше время смерти гуманистических понятий. Это, по сути, знание столь же отрицательное, разрушительное, только с другим знаком, а также с обещанием воскресения после смерти. «Страсти Мальдорора непонятны, оригинальны, грандиозны. Он — человек-стихия, океан наделил его своей масштабностью, бешенством, красотой, загадочностью. Поэтому его отношение к людям отличается демонизмом и жестокостью, смешанной с надменностью, иронией, снисходительностью. Если это дегуманизация, то дегуманизация высшего существа». Каковыми могут стать и прошедшие это горнило, что сродни расплавлению, смерти свинца ради возрождения золотом. Про алхимию, конечно, сравнение условное и не хромающее, но припадающее на одну ногу. Ведь здесь все другое, непонятное повседневному сознанию: «Все эти люди далеки от героев в обычном смысле. Да и о людях мало что можно сказать. Это человеческие схемы, линии, поступки, которые, нелогичные и запутанные, пересекаясь в сложном пространстве поэмы, образуют сети узоров. <...> Поражает четкость композиции, главное непонимание поэмы в обычном логическом смысле... <...> Таким образом создается некий второй язык, употребление которого до крайности усложняет поэзию отсутствием привычных референций».

Это сложно, но не беда, и точно не должно смущать. Ведь «человека обезличивают специальностью, слово — однозначностью. Ясность выражения и точность формулировок, столь ценимые в intersубъективном общении или в донесениях, отнюдь не являются добродетелью языковой сферы. Живому организму языка вовсе не свойственна симметрия и логическая завершенность теории, уравнения, геометрической фигуры». Зато этот сложный, новый язык позволит выявить суть вещей: «В полутьме, в сумраке вещи пребывают застывшими под патиной привычности. Только восходящее солнце начинает видеть имена, то есть натуральную суть вещей», «стихотворение побуждает размышлять о какой-то другой стороне жизни, о том, что никогда не приходило в голову». Это четвертое измерение искусства, жизни, вещей. Та геометрия Лобачевского и Римана — да, Головин пишет и о математике, и о физике, — что «положила начало идеи четвертого измерения<sup>1</sup>, той самой идеи, которая спровоцировала революцию в сегодняшней литературе и искусстве».

Работа с «другой стороной жизни» предполагает многое. Вплоть до — мы приходим к началу, когда Бодлер расширял сферы эстетики — внесения неживого в

---

<sup>1</sup> Джемаль в свою очередь вспоминает о своем детстве: «Этот вкус с того момента всегда оставался со мной — постоянная близость четвертого измерения, выход куда-то, где наступает тишина и только пролетают птицы».

сферу, орбиту живого: «Однако в природоведческих книгах семнадцатого века <...> утверждается, что между тремя царствами природы (минеральным, растительным и животным) нет принципиальной разницы. <...> Даже сегодня не каждый минеролог согласится признать камни мертвыми». Что ж, утверждает Головин, рациональное, конвенциональное знание видит, понимает и учитывает совсем не все. Оставляя за скобками то, что Генон называл *la possibilite infini* — безграничная возможность. То же развитие современных математики и физики, понятное паре сотен людей в мире, остальными принимается исключительно на веру. А те же открытия Эйнштейна возвращают знание в мифические времена всеобщего единства, обратимости, синкретизма. Посему даже такая радикальная константа, как смерть, может быть, абсолютно наоборот, не концом, а началом. Ведь «никогда и нигде до триумфа рационального интеллекта смерть не считалась концом человеческого бытия»<sup>1</sup>. Да и «то, что обычно понимают под словом смерть, у Тракля ассоциируется с финалом разложения и началом интенсивной метаморфозы». Пусть это видели только горстка алхимиков, Тракль и его великий, без дураков, интерпретатор Евгений Головин — многие ли, уже растягивая сравнение, дошли бы своим умом до того, чем занимается физика после Эйнштейна?

Не стоит, впрочем, думать, что Головин на протяжении всего текста погружен в подобные метафизические абстракции. Его мысли — скорее, по Юнгеру (которого он тоже уважительно цитирует), озарения. Изысканные и свободные. Вот, например, о той же математике. «В сущности, когда ученый забывает об “убожестве прозы жизни” и занимается чистой математикой, он гораздо лучше понимает художника: в его творческой работе важнейшую роль начинают играть эстетические категории, и подобно поэту, чья муза утратила слишком конкретные очертания, его интересует метафора как таковая, скопление метафор и мир воображения, расцветающий на такой почве».

Почва эта, конечно же, дает массу тончайших частных наблюдений. Впрочем, частных ли? Ведь это тоже о том мире, в котором мы живем, и о том, как мы с ним себя соотносим. «Центр механической структуры всегда находится вне ее», «современная поэзия создает режим неопределенности», «молчание, темнота, пропасть, бессилие, глубина и высота — это негативные категории, и их существование фиксируется отсутствием звука, света и тому подобного. В поэзии подобные категории являются позитивными»<sup>2</sup>. Или о том, как неожиданные, казалось бы, восклицания у Бенна «интенсифицируют надменную непричастность стихотворения».

## *Шанс шизоидного подполья*

**Гейдар ДЖЕМАЛЬ. Сады и пустоши. — М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2021. 608 с.**

После смерти в 2016 году силами его учеников и близких<sup>3</sup> продолжают выходить книги<sup>4</sup> еще одного участника и столпа Южинского кружка — писателя, философа, исламского мистика, политического деятеля Гейдара Джемалья.

<sup>1</sup> Максиме Ника Кейва «Just remember that death is not the end» вторит и Джемаль, предлагая почувствовать «абсолютную разницу между гибелью и смертью»: «Гибель — это разрушение феномена извне, а смерть — это то, что происходит изнутри, обнаруживает себя изнутри, потому что смерть — это сознание, в отложенном виде являющееся смертью».

<sup>2</sup> Вот он — позитивизм по Головину, более приличествующий нашей эпохе гнилого грома после «стальных гроз»!

<sup>3</sup> Сын Джемалья Орхан, военный журналист, был убит в ЦАР при до сих пор не выясненных обстоятельствах в 2018 году.

<sup>4</sup> В прошлом, 2020 году, вышла книга «Новая теология. Избранные лекции».

Эта книга не столько «вероучительная», сколько захватывающая своей дискретностью. Формально «Сады и пустоши» — мемуары, надиктованные на видео перед самой смертью Джемалю от рака. На самом же деле — это не только воспоминания о детстве и юности, но и история интеллектуального становления, повествование о создании самых прорывных его работ, рассказы о так или иначе учителях и единомышленниках (о Евгении Головине — с неизменным уважением<sup>1</sup>, о Юрии Мамлееве — часто стебно и действительно смешно, о пришедшем к нему с вопросом, что ему читать и как быть, пухлом подростке Дугине — объективно), а также, конечно, не столько лекции, сколько важные пунктиры, описания костяка его мысли. В книге можно даже прочесть о том, как бросить курить по Джемалю.

В ней вообще так много всего, что каждый, не исключено, найдет какие-то точки пересечения. Например, у Мамлеева, жившего на бульваре генерала Карбышева, они собирались рядом с улицей, где прошло мое детство, а в Институте стран Азии и Африки я еще застал арабиста Г.М.Габучана, о котором пишет изгнанный из ИСАА за идеологическое свободолюбие Джемаль.

Описание необычного детства уже уводит в необычные области. Дед, безжалостный функционер, знавший Сталина, отсутствовавшие мать, фанатка лошадей и ипподромов, и отец, внедрявшая жесткое классическое образование бабушка, отчим — репрессированный грузинский князь, дядя — «человек неуправляемый, полный безумия и темной злой энергии», друг Высоцкого и любовник всех актрис... Воспоминания о даче с бабушкой и о «родовой» квартире в Мансуровском переулке звучат той лиричной нотой, что заставляют вспомнить Бунину, Набокова с «Другими берегами», всю эту линию. Довольно необычная для непримиримого нонконформиста, жесткого политика и теолога, правда? «Снега, заснеженные ели, чистый морозный воздух, скромный электрический свет, приглушенный желтыми обоями спальни. Время мы проводили читая, я на своей кровати, она на своей, каждый под своей лампой. <...> Дача оставалась для меня на протяжении многих лет местом притяжения, точкой, куда я возвращался. <...> Она мне снилась и снится до сих пор, и это мучительный ностальгический сон. Ностальгический сон о навечно утерянном». Но наша история была против лирики, ей были ближе другие жанры. И жанр Джемалю напоминает иногда сюрреализм, тот крутой замес, что бросал, срывал, сталкивал людей в те годы. «Дед со стороны отца из конформистского старого дворянства, которое при царе занимало посты выборных голов или участвовало в чертовом земстве. При Мусавате мой азербайджанский дед возглавлял Совет Карабаха. Кончился Мусават, пошла советская власть, и он стал возглавлять отдел по борьбе с бандитизмом, оставаясь беспартийным». Остальных кидало не меньше. Тех же князей — «Играла она во МХАТе. Смешно, что ее фамилия Друцкая-Соколинская. Ее папа князь Друцкой-Соколинский в ссылке, будучи алкоголиком и слабым человеком, сошелся с буфетчицей — не то с карелкой, не то с мордвинкой. И от этого мезальянса родилась, на минуточку, княжна Друцкая-Соколинская».

Отсюда, возможно, презрение маленького Джемалю к «пролам» и, хоть и скрываемый, пиетет перед настоящей аристократией. Князей из «бывших», но

<sup>1</sup> «Я поддерживал близкие отношения с Головиным, который выступал как мэтр. Я находил огромный энергетический приток от нашего общения. Это было общение ученика и... и неучителя. Потому что Женя тоже плевал на учительский статус». (*Джемаль Г. Сады и пустоши*. — М.; Берлин: Директмедиа Паблшинг, 2021. С. 442.) См. также «стороне» суждение близко знавшего Джемалю в течение четырех десятков лет Владимира Видеманна: «Вообще, Головин в судьбе Гейдара сыграл какую-то — не побоюсь этого сказать — зловещую роль. Они всю жизнь словно соревновались за первенство, и не только среди женщин, но вообще... При этом странным образом Головин — единственный из всех гейдаровских знакомых, в отношении которого тот всегда — по меньшей мере, в моем присутствии — отзывался крайне корректно и даже с большим пиететом: “Женя, Женечка, Головин — уникальный человек!” При том, что про всех других мог отпускать весьма саркастические реплики». (*Видеманн В. Гейдар Джемаль в оптике балтийского друга // Сборник памяти Г. Джемалю (в рукописи)*.)

сохранивших свой лоск и апломб, он описывает, скрывая затаенное дыхание. Отсюда, экстраполируя, и традиционализм Генона и особенно Эволы с его кастовостью, вера в то, что по-настоящему в мире, над миром работают только кшатрии и брахманы? «Я верю в касту воинов. И я верю, что всегда было только две касты — попы и воины. Либерализм, не либерализм, секуляризм, не секуляризм, буржуазия, не буржуазия — есть только две касты. Да, они разгромили касту воинов. <...> Она распалась на разрозненных одиноких героев. Одинокие герои рождаются в народной толще — Бакунин, Нечаев, Че Гевара, Карлос».

Бунтарство посетило Джемаль тоже очень рано, еще в школе. «Ницше я полюбил за одно имя и за слух, что он является крайне реакционным. Обязательно полюбил Шопенгауэра. Выискивал о них скудные крохи информации в советских словарях. Ну и разрабатывал идеи антигуманизма, ненависти к добру, любви к жестокости, к насилию, идеи превосходства». Он стал яростным антисоветчиком и сторонником войны, как в целом, так и в частности, — новая война должна была уничтожить СССР, такова была надежда школьника Джемаль. Ставшего метафизическим фашистом. «Я же был крайне правый. С одной стороны, профашистский, а с другой — глубоко антисоветский. Что-то мне показалось в Лёше близким. В 14 лет я стал к нему захаживать в гости и как-то говорю ему: Лёша, я вот ненавижу советскую власть. А ты?»

И, кстати, в подкорке, мотивах тут — много общего с другим яростным пассионарием тех лет, Эдуардом Лимоновым. Советскую власть Джемаль свирепо невзлюбил, в том числе из-за ее матриархальной природы<sup>1</sup>, тех теток в меховых облезлых шапках в помещениях, что не только подавляли мужчин, алкоголиков и вырожденцев, но и все витальное. «Совок, матриархат, лицемерие...» Почти теми же словами крыл этих несчастных теток и пассивность позднесоветского режима Лимонов, мечтая, в частности, в «Другой России» о новой мужественности, возрождении героя, даже о том, что молодое поколение его мечты уйдет в будущем из стылых городов, станет новыми кочевниками<sup>2</sup>. Оба не любили классику («вся эта хрень»), заигрывали, играли и жили с опасными именами и идеями и отказывались хоть как-то вписываться в социум<sup>3</sup>.

Проработал Джемаль официально пару месяцев корректором — у Лимонова, с его юностью в рабоче-крестьянской Салтовке и желанием стать настоящей крутой шпаной, стаж будет поболее — несколько лет на заводе. Из Института восточных языков Джемаль выкинули, не вписался. В армии же вел себя как настоящий панк до

<sup>1</sup> Евгений Головин — и это выступление даже можно найти на YouTube'e — обобщал, обозначая торжество современной матриархальной, постмодернистской культуры следствием упадка традиционной патриархальной монотеистической культуры.

<sup>2</sup> См.: Чанцев А. Эстетический фашизм. Смерть, революция и теория будущего у Ю.Мисимы и Эдуарда Лимонова. Впервые опубликовано в журнале «Вопросы литературы» (2005, № 6), в настоящее время доступно по ссылке с «говорящим» адресом: <http://thule.primordial.org.ua/chancev.htm>.

<sup>3</sup> Неожиданнее выглядят пересечения с более популярным автором — Виктором Пелевиным. Так, рассказывающий об их одно время знакомстве сын Джемаль утверждает, что, например, «Empire V» «является определенным беллетристическим парафразом цикла лекций Гейдара». Не от Джемаль ли Пелевин узнал об увлечении Котовского мистикой и обыграл это в «Чапаеве и Пустоте»? Во всяком случае, прочтя следующую инвективу мирозданию, атрибутируешь ее стилистику сначала Пелевину, а потом удивись, узнав, что это Джемаль: «Потому что я понимал, что это темница для духа. Дальше идут более сложные вопросы. Когда ты покидаешь камеру, ты выбегаешь в коридор, и там тебя встречают вертухаи с резиновыми палками, дальше идут какие-то переходы, внешняя охрана, вышка с пулеметами». Впрочем, не столь это и необычно, если сам ПВО с еще советской юности интересовался оккультизмом и «другим знанием», а в своих последних книгах (например, в «Тайных видах на гору Фудзи» или «Непобедимом солнце») демонстрирует плавную, но уверенную миграцию от трансцендентальности буддизма к критике современного общества чуть ли не с протохристианских позиций Эволы и других деятелей «консервативной революции».

появления еще этого благородно-юродивого явления — например, пытался косить под инвалида, был отправлен из части на медицинское освидетельствование, признан симулянтом, но вернулся в часть и сказал, что скоро комиссуют. Результат: «отправили меня в военную тюрьму — готовить мое дело для трибунала» и серьезного срока за «злостное уклонение от воинской обязанности — до семи лет». Как-то разрулилось на очередной психиатрической экспертизе в Институте Сербского. Вообще, советская власть была уже не такой клыкастой, от нее удавалось ускользать. Но не совсем, от той же карательной психиатрии доставалось — забирали, держали «на растяжках», привязанным к кровати, с вколотым в четыре точки мучительным сульфозином. В отличие от иных диссидентов, Джемаль, кстати, свое мученичество не выпячивает. А, в своем стиле, описывает историю пыточного лекарства (взвесь серы в персиковом масле изобрели нацисты) и то, как психологически отключался от боли. С грустной улыбкой констатируя, что в последние его годы рак вернул боль — и от нее уже не уйти.

Дальше тех, кто мог привыкнуть по иным работам и выступлениям Гейдара Джемалья к суровой экзегезе эзотерического ислама, будет весьма удивлен и может даже перепроверить обложку — не довлатовские ли байки он взял ненароком. Ибо маргиналы, мистики, просто тусовщики той эпохи — редкостные фрики, не чета даже людям 90-х, и рассказы о них — один бесконечный, как тупик Галковского, прикол. И тут, кстати, надо держать в памяти — или на экране смартфона, ибо QR-коды в книге дают доступ к видеофрагментам диктовки книги автором, — что Джемаль был блестящим лектором и рассказчиком, этих людей видишь и слышишь в его воспоминаниях. Персонажей таких, в каких и не поверишь — «...представьте гофмановского карлика Носа в меховой шапке с торчащими ушами — и он садится рядом. Бокштейна хватало на то, чтобы выбежать среди зимы в Гагаринском переулке в темный зимний вечер среди сугробов в этой шапке и больших сатиновых трусах, чтобы немного погулять. И вот он начинает говорить, что вот-де Платон, Гамлет». Таких, честно, целая галерея, сотня страниц. «Когда она заглянула на кухню (у нас ванна стояла на кухне), то как раз в ванне лежала одетая жена Казанца и рыдала. Мама даже бровью не повела. Заглянула, посмотрела на все это, сказала мне: “А у тебя весело”».

Безумны, кстати, все, так сказать, по обе стороны баррикад — и власть, и фронда. Так, один участник тех событий оставался в уверенности, что Джемаль был крупным агентом КГБ — он же лежал в дурке, получил группу, то есть право убивать: «всем агентам 007, имеющим лицензию на убийство, давали как минимум вторую группу».

И все это вертелось, играло так ярко и густо, что абсолютно мимоходом — да, понятно, тот был младше, еще не снял своего абсолютно гениального фильма «Ладони» — Джемаль сообщает, что дело было на квартире у Артура Аристакисяна. Игорю Холину, Генриху Сапгиру и Глебу Якунину посвящено больше страниц, ок.

Советскую власть, кстати, тоже не сразу узнаешь — по Москве, если знать, если приведут и введут, разбросаны салоны, сходки, даже бордели. У фарцовщиков можно достать что угодно, а у номенклатурной жены друга — доступ в спецхран, где Генон, Эвола и прочие традиционалисты в единственном экземпляре на французском языке. Джемаль приводит удивление Головина, когда он сказал тому, что некий эстонец<sup>1</sup> каким-то образом освоил традиционалистов: не может быть, Генона в Союзе читали только мы с тобой! Отдавая вполне дань всем развлечениям своего круга (но свою вовлеченность, будучи уже правоверным мусульманином, заштриховывая), Джемаль

---

<sup>1</sup> Самобытные мистики тех лет — отдельная тема, при разговоре о которой многие персонажи (вроде йога Рамы Михаэля Тамма) у Джемалья пересекаются с фигурантами очень любопытной книги В.Видеманна «Запрещённый союз: Хиппи, мистики, диссиденты». См. мою рецензию на книгу: Самадхи в ватнике: Две книги о мистиках и неформалах // Перемены. 2019. 19 июля (<https://www.peremeny.ru/blog/23847>).

интересуется иным — «шизоидное подполье жило в психологии глубин, психологии пограничного существования, в динамическом подвергании сомнению человеческого вообще». И проводником туда был именно Головин — «встреча с Женей Головиным открыла мне дорогу в проблематику высшей масонерии, герметизма, традиционализма, что, как ни странно, вызывало у меня сначала полное принятие Гегеля, которого я с восторгом сливаю».

Тут, кстати, интересно, что Джемаль не так высоко оценивает роль Южинского кружка, как принято. И тот уже сдувался, когда он пришел туда, и главными были — Головин, он и еще один-два человека, не столько потерявшиеся в пене дней, сколько не реализовавшие свой потенциал. Это Жи — у всех у них были клички, самая известная эта Головин-Адмирал — московский суфий Владимир Степанов, (перво)открыватель Гурджиева, на даче которого с лопатой возился Роберт Грейвс. И Игорь Дудинский<sup>1</sup>, роль которого, по Джемалю, в том, что он был секретарем, заставил его наговорить и записал первую его и до сих пор громкую работу — «Ориентация — Север». Не исключено, что они написали бы совсем иное видение тех событий.

Впрочем, Джемалю верится — он, уж тем более в его предсмертном состоянии, точно поверх барьеров честолюбия и прочего. О книгах Лимонова об умерших он замечает, что тот говорит о мертвых только плохо, сам же не склонен к этому. Поэтому суестьем, пиарящемся на великих знакомцах, не любящему сводить их вместе и впавшему в эмиграции в посконную простоту русскости «Юрочке» Мамлееву веришь. Как и 100-килограммовому подростку Дугину, бритому и в сапогах<sup>2</sup>. Ему Джемаль посоветовал читать Генона — он ушел, выучил французский, еще пяток языков, и первым перевел Генона. А вот Головина вообще видишь — как тот, в своей трикстерно-юродиво-инфантильно-терриблешной манере скидывает с парохода современности того самого Генона, которого сам же открыл Москве и Союзу. «Ну что же. Видимо, у Генона такая планида: его звезда всегда будет для кого-то сиять. Когда она тухнет для одного, она зажигается для другого».

Веришь Джемалю и тогда, когда он говорит, какой тусклой стала жизнь после 70-х, в 80-е — диссиденты еще рыпались, но в довольно тухлой воде, где основные, как сказали бы сейчас, инфлюенсеры «шизоидного подполья» уехали, болели, спились-сторчались (или — как прервал свое последнее выступление Джим Моррисон — «из меня ушла жизненная сила»). «Я застал живого Юрия Витальевича Мамлеева до его отъезда в Америку, был с ним дружен шесть лет как с самым близким для меня человеком. Не я один. Но люди, разделявшие со мной радость знать Юрия Витальевича, уже ушли. Мы не можем привязать “шизоидное подполье” к 60-м, хотя номинально оно располагается в тот период — 70-е были уже эпохой постмамлеевской, постюжинской. Это была эпоха Головина. Прекрасная, великая эпоха. Но и Головин ушел не потому, что что-то изменилось. Головин ушел потому, что он устал. Я видел его на похоронах Лены, когда его вели под руки, и он уже был как выющийся седой стеклянный есенинский дымок над осенней землей. Он устал».

Не устал, но разочаровался и сам Джемаль. Поэтому о русскоязычном круге Душанбе и о своих озарениях в горах Таджикистана он пишет больше, чем о своей

<sup>1</sup> Эти люди ярки во всем, на их детях даже не «отдыхает природа»: дочь Дудинского — режиссер Валерия Гай Германика.

<sup>2</sup> «Он, безусловно, центр определенного кружка, он, конечно, вбросил и расширил определенные евразийские концепты, популяризировал традиционализм, хотя и не сам его вбросил. Русскоязычным людям традиционализм презентовал Головин, но достоянием широкого круга сделал все-таки Александр Гельевич». Интересен, в скобках, и мотив сопротивления среде, поколению отцов: как Джемаль — из семьи функционеров, так и Дугин — сын генерал-лейтенанта ГРУ. И уж совсем к слову — бабушка Евгения Головина Берта, анархистка в юности, в восемнадцать лет стреляла в генерал-губернатора.



исламской и политической деятельности после развала Советского Союза. Да, он входил в руководство партий, почти поставил своих нужных людей во главу Таджикистана, выступал на центральном ТВ уже России. Было и свое фриктство той эпохи — его вдруг отправляли в Баку, рулить нефтью, 20 миллионов долларов в сейфе. Но за приколами 90-х — это к другим, Гейдару Джемалю они интересны менее, чем синонимичная той эпохе судьба его бабушки или канувшие в советскую Лету суфии московских 70-х.

Даже несмотря на то, что «Сады и пустоши» — отнюдь не линейные и не традиционные мемуары, очень символично, что заканчивает их Джемаль не доведением повествования до вчерашней даты или какого-то очередного собственного возвышения, но — ибо знал, сколько ему осталось, боялся не успеть? — очерком реперных точек своей философии.

О смерти («надо мыслить саму смерть, рисовать смерть»), исламе, ловушке реальности, Гегеле, Достоевском, Хайдеггере, Абсолюте и других джемалевских темах напишут — или пишут — диссертации и отдельные статьи. Видимо. Главное то, что Джемаль, принявший завет Головина, всеми своими книгами, выступлениями и поступками — философствует об ином. «И главным моментом было то, что есть Абсолют, но он ложный. Абсолюту противостоит Иное, выражающееся в том, что оно не является сущим, оно не причастно сущему, оно таково, что, с точки зрения сущего, его абсолютно нет. И именно это является модусом его утвердительности, его безусловности, его сверхценности». В этом и заключается «шанс героя, у которого нет шансов».

### *Тантра каббалистов*

**Евгений ТОРЧИНОВ. Опыт запредельного: религии мира. — СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2021. 576 с.**

В массовом сознании должно, видимо, пройти какое-то определенное время, что-то сработать и шелкнуть, чтобы, как и в случае с Головиным (у Джемалю все же другой случай, верные и активные ученики), после смерти начали издавать, переиздавать книги. Сначала издали беллетристику<sup>1</sup> ведущего петербургского сиолога, буддолога, специалиста по мировым религиям, доктора наук Евгения Торчинова. Сейчас переиздали его во многом манифестарные, если не сказать эпохальные, «Религии мира» (1997 г.).

Историй религий, даже написанных на столь же зашкаливающем эрудиционном и понимабельном уровне, много. Инновационный, как сейчас любят говорить, в книге, прежде всего, подход. Торчинов будто выбивает из-под читателя стул, заставляя искать иные определения, другую мысль. В своем фундированном — больше ста страниц — введении к книге Торчинов дезавуирует состоятельность почти всех существующих определений религии. Помните, как иронизировал Воланд про Канта? «Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!» Так и Торчинов. Культ, антитеза профанного и сакрального, «вера в Бога или богов также отнюдь не являются сущностными признаками религии», ибо много вопросов про теизм буддизма и тем более буддизма, а уж в даосизме (как и чань-дзэн, они являются не религиями, но скорее практиками, что известно, конечно, было и до Торчинова) бога/богов в привычном нам восприятии точно нет.

<sup>1</sup> За неимением других откликов отошлю к своей рецензии. Даосская алхимия и буддийская спиночесалка // Год литературы. 2019. 9 апреля (<https://godliteratury.ru/articles/2019/04/09/daosskaya-alkhimiya-i-buddiyskaya-spinoch>).

Понятно, что углубляется во все это Торчинов, конечно, для определения понятий, для более научного и корректного разговора, выстраивания несколько иной типологии религий и своей главной мысли. Так, например, в распределении религий по методам он говорит о религиях тантрического типа, к которым «относятся психотехнические приемы традиций, использующих активное воздействие соматического, телесного фактора на психическую жизнь и участие тела в психотеническом процессе через специальные позы, дыхательные упражнения, сосредоточение на центрах тела, ритуальный танец и т.д.». И тут проскальзывает ключевой для Торчинова термин — психотехника. Конечно, даже без легкой отсылки к телепатиям, магам и прочей парапсихологии перестроечных лет. Психотехника — это то, что меняет человека, преображает его, производит работу внутренней алхимии, возносит даже<sup>1</sup>.

Понятно, интересно, глубоко. Но, кажется, работа самого Торчинова с изучающими его книги гораздо глубже. Дзэнские — да и не только — учителя в свое время начинали общение с учениками, подготовку их к озарению с того, что как бы зачищали их мозг. С помощью физических упражнений, коанов (задач, не имеющих ответов в привычной логике мира), платоновских диалогов они подводили их к осознанию того, что привычное мышление (уж не говоря об обыкновениях, науке и даже морали этого мира) работает не всегда, может довести до определенного предела, но дальше само не заступит, точно не поведет. Так и Торчинов по ходу своей книги показывает, что если и не «Все, что ты знаешь, — ложь!»<sup>2</sup>, то многое устроено совершенно иначе.

Это касается как большого, так и малого. Так, он несколько раз подводит нас к мысли, что «вера в Бога кажется естественной основой религиозных представлений, поскольку она является таковой для иудео-христианской традиции, но профессиональный религиовед, разумеется, не может проявлять такую узость подхода» — дело в том, что само наше представление о религии, божественном сложилось из свойственных только западному мышлению установок. Исходя из христианства и, шире, связанных между собой религий откровения — иудаизма, христианства и ислама — мы беремся судить о крайне широком спектре явлений, выламывающихся из узких рамок.

Можно взять совершенно разные вещи — и увидеть их под другим углом, новым взглядом. Первобытная магия? «Совершенно очевидно, что когда первобытный художник наносил удар по изображению быка или когда колдун наводил порчу на врага, воздействуя на символизирующую его фигурку, то они отнюдь не прибегали к помощи каких-то естественных сил. По существу, они просто неправильно (строго говоря, не соответствующим современным научным представлениям образом) истолковывали принцип причинности, причинно-следственной связи»<sup>3</sup>. Самая современная наука? Квантовая физика, теория относительности и прочее никак не вписались бы в картину мира ученого даже пару веков назад, а еще чуть раньше могли показаться самой оголтелой магией и чертовщиной<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Любитель восточных религий и тем более нестандартных их трактовок в своей последней книге формулирует то же самое, но примитивнее и циничнее: «Религия, — ответил чемодан, — это обещание, что душе станет хорошо, если она будет совершать одни действия и избегать других». Пелевин В. Transhumanism Inc. — М.: Эксмо, 2021. С. 157.

<sup>2</sup> Лозунг издательства «Ультра.Культура» Ильи Кормильцева, еще одной сверхновой звезды тех ярких лет.

<sup>3</sup> У Луи Повеля и Жака Бержье в «Утре магов» версия еще более изящная — так древние художники создавали макет предстоящего. В современной лексике — план атаки или бизнес-стратегию.

<sup>4</sup> Подобные доводы выдвигали, конечно, многие. Так, еще Тейяр де Шарден был уверен, что «на космическом уровне вся современная физика учит нас тому, что только фантастическое имеет шансы быть истинным».

У Торчинова много таких примеров. И в данном случае очень ценно, что он привлекает во многом именно ориентальный опыт — в последнее время мне попадалось много прекрасных книг, по истории музыки, например, где привлечение Востока не только расширило бы картину, но и подчас позволило бы избежать неправильных выводов. «В буддизме и джайнизме, как уже говорилось, так называемые божества (дэва) просто вид живых существ, подверженных заблуждениям, страстям, рождениям и смертям» — и все это было гораздо, гораздо раньше, чем богочеловек в христианстве. Или то, что в нашей же западной цивилизации клеймится как мистика, совсем не воспринимается как таковая на Востоке: «В иных же культурах, вполне гомогенных и вообще имеющих иные фундаментальные характеристики, такой оппозиции вообще не существовало, и в Индии, например, практически все мыслители (по европейским понятиям вполне рационально и часто рационалистически мыслившие) были одновременно, по тем же самым западным понятиям, “мистиками”» (сразу отвергая расхожий упрек в отсталости Индии — в сфере IT и фармы, по сути, самых важных индустрий последнего и особенно пандемийного времени, индийские специалисты лидируют). А вот взгляд с другой стороны — цитата не из Торчинова, но А.Грофа, которого он не только многожды цитирует, но и на которого во многом опирается: «Опыт и поведение шаманов, индийских йогов и саддху (святых отшельников) или духовных искателей других культур по западным психиатрическим стандартам следовало бы диагностировать как явный психоз. И, наоборот, ненасытное честолюбие, иррациональные побуждения к компенсации, технократия, современная гонка вооружений, междоусобные войны, революции и перевороты, считающиеся нормой на Западе, рассматривались бы восточным мудрецом как симптомы крайнего безумия».

Но Торчинов отнюдь не только, под понятным углом, противопоставляет Восток и Запад. Его знание обеих цивилизационных парадигм позволяет сопоставлять то, что, казалось бы, ничего общего иметь не может, находить в этом единый корень, связь поверх догматических барьеров, ведь: «Сказанное выше справедливо прежде всего относительно христианства, причем по преимуществу западного с его чрезвычайно развитой традицией рационального богословствования. В иудаизме мистики-каббалисты претендуют на знание внутреннего эзотерического смысла Торы, приспособлявая, таким образом, не свой опыт к языку богооткровенного текста, а этот текст к своему опыту. Суфии же вообще разработали свой собственный весьма специфический язык религиозных образов, символов и метафор (иногда с суггестивной функцией, наподобие дзэнских коанов) для выражения, описания и трансляции своего психотехнического опыта»<sup>1</sup>. И, чуть более лингвистически спорное: «Слово “йога” означает “связь”, “соединение”, “сопряжение” и родственно русскому слову “иго”», что отсылает к даже более фундаментальному: «Обычно слово “йога” (кстати, по одной из версий, слово “религия” так же означает связь) интерпретируют как связь человеческого духа с Абсолютом, единение души и Бога».

Заслуживает отдельного упоминания и то, каких порой диаметральных мыслителей привлекает ученый-китаист: Элиаде и Маркс, Фрейд и Владимир Соловьёв, Вебер и Бердяев. И, отдельная радость, Василий Налимов, который — как физик, исихаст, переводчик Джойса Сергей Хоружий — в самом себе совмещал разные взгляды на мир: ученый-математик и философ. Торчинову, надо заметить, важны практики, опыт и вектор исихазма так же, как суфиев и каббалистов, — суммируя, можно сказать, что он привлекает, выводит из тени не основные религии, а считающиеся мистическими их порождения. То маргинальное, что расширяет опыт.

Не боится Торчинов и жестких тем, традиционно не принятых в этой самой науке, — тут, в глубоких скобках, надо сказать, что некоторые считали его работы

<sup>1</sup> Вообще, вся глава про мистические течения иудаизма — по сути, одно большое сравнение с практиками йогов.

спорными, вообще предлагали сместить из дискурса академической науки. Он расскажет, из каких алхимических нужд даосы мочатся на корточках<sup>1</sup>, о том, что видения после LSD во многом схожи с религиозными и наукой корректно объяснены быть не могут (зато успешно помогали душевнобольным, пока этот вид терапии не попал под запрет), процитирует буддийские проповеди определенных школ с призывом к убийству, инцесту и даже канныализму.

И, еще один пример, если Головин писал о расширении сферы прекрасного у Бодлера, внесении в нее дотолы прекрасным никак уж не рассматривавшихся деталей, то Торчинов тут бы вступил с репликой, расширил контекст. «Интересно также, что именно недихотомичное видение реальности, снятие оппозиции “сакральное — профанное”, элиминация дихотомичности мышления вообще рассматривается (в рамках брахманско-индуистской традиции адвайта-веданта. — А.Ч.) в качестве религиозного идеала. Более того, в буддийской традиции Ваджраяны (уровень тантр наивысшей йоги — аннутара-йога-тантра) даже подношения Будде часто совершаются не цветами или иными благообразными предметами, а отбросами и нечистотами — для более наглядного и демонстративного выражения идеи недихотомичности реальности и иллюзорности оппозиций типа “прекрасное — безобразное”, “священное — профаническое” и т.д.» Адептам этих культов разрешалось посещать женщин, вести безобразный образ жизни (анalogии с образом *enfant terrible* и современного юродивого-трикстера, практиковавшимся Головиным, напрашиваются сами собой), даже есть мясо. Так они не грешили, но, наоборот, утверждали истину — нет высокого и низкого, все едино и все свято<sup>2</sup>.

Оказываются в целом сходны и глобальные обобщения, глобальные выходы Головина и Торчинова. Который в завершении книги резюмирует: «В настоящее время серьезным ученым все яснее становится тупиковость так называемого “магистрального пути развития мировой цивилизации”, то есть американской и западноевропейской модели постиндустриального общества и всего “духа капитализма”, стимулирующего все новое и новое потребление и формирующего новые и большие потребности и привязанности во имя расширения производства, приносящего новые прибыли, вновь и вновь повышая уровень спирали потребления. Этот путь не может быть императивным для всего человечества».

---

<sup>1</sup> Про алхимию даосов активно пишет и издает(ся) китаевед Алексей Маслов. См. мой обзор: Важнейшее в нефритовых покоях — введение в китайскую эротологию // Перемены. 2020. 28 июля (<https://www.peremeny.ru/blog/25232>).

<sup>2</sup> В отношении аскетов-пашупатов, которым почти «законодательно» в их трактатах приписывалось вести себя столь вызывающе, что «пусть о нем говорят: “Он — изгой, он — сумасшедший, он — дурак”», существует и другое объяснение подобных поведенческих модусов: «Считалось, что пренебрежение нормами морали и нравственности способствовало высвобождению огромного количества энергии, которую адепт всецело направлял на духовную реализацию». (Семенец С. Традиции и легенды «Города храмов» // Наука и религия. 2021. № 9. С. 53.)